

В. Ф. Одоевский

Черная перчатка

В. Ф. Одоевский "Повести и рассказы", ГИХЛ, 1959. Примечания Е. Ю. Хин
Ц "Im Werden Verlag". Некоммерческое электронное издание. Мюнхен. 2006.
<http://imwerden.de>

*Посв. Юл. Мих. Дюгамель
(Козловской).*

В моей молодости я был шафером на одной очень интересной свадьбе. Жених и невеста, казалось, были созданы друг для друга. Равно молодые, равно полны жизни, равно прекрасны собою, оба хорошей фамилии и, чудная вещь! оба равно богаты. Это были два создания, которых судьба, казалось, выпустила на свет для того, чтоб не всегда можно было ее назвать немилосердою. Она с колыбели осыпала юную чету всеми дарами счастья; она, казалось, даже была прихотлива в выборе этих даров и каждому из них старалась дать самую совершенную форму. Так, например, у молодой четы было много имен и ни одной тяжбы, было несколько добрых, истинных родных, и не было вереницы тех второстепенных родственников, о существовании которых порядочный человек знает только по визитным билетам или по просительным и рекомендательным письмам.

Отцы и матери наших любовников давно уже не существовали на свете. Граф Владимир рос с своею невестою в доме их общего опекуна и дяди Акинфия Васильевича Езерского, которого, я думаю, вы знавали; помните: довольно дородный, румяный мужчина, всегда в широком коричневом фраке, немножко припудрен, с таким важным и решительным лицом, еще немножко похожим на Франклина. У него-то жили мои молодые люди; почти с пелен они не расставались друг с другом и заранее, в голове опекуна, они назначались быть мужем и женою. Акинфий Васильевич Езерский был человек во многих отношениях весьма замечательный; природа дала ему ум и доброе сердце. К сожалению, природа дает нам только глаза, но заставляет нас самих выдумывать стекла, которые видят немножко подалее природного зрения; этих стекол Акинфий Васильевич не получил в детстве; его учили по-старинному: заставляли вытверживать географические имена, исторические числа, нравственные сентенции и фортификационные размеры, но забыли научить его одному: думать о том, чему его учили. Такое ученье, как всегда бывает, отозвалось ему на всю жизнь: что видел природный ум и чувствовало сердце, того не могло доглядеть его образование; оттого он думал только половиною головы, чувствовал половиною сердца и оттого часто понимал только половину предметов. После такого странного воспитания он брошен был судьбою в Англию, где и провел несколько лет своей жизни; этот новый мир не мог не поразить его; но, как дикаря, его поразило равно и хорошее и дурное; то и другое для него смешалось; он и в том и в другом многое не досмотрел, многое пересмотрел, и то и другое перенес целиком на русскую почву. Так, например, несмотря на насмешки невежд, ни на насмешки писателей, которые не стыдились своим пером подкреплять мнение безграмотных и в своих сочинениях выставлять торжество закоренелой глупости над необходимыми улучшениями, Езерский ввел в имении своих питомцев усовершенствованное хозяйство и, назло безграмотным соседям, безграмотным повестям и комедиям, удесятирил свои доходы; но с тем вместе он перенес к себе отростки этого сухого методизма, который более или менее отзывается во всей английской жизни и убивает в ней всякую поэзию. Второпях он прочел Бентама, и мысль о *пользе* была ослепительным солнцем для Езерского; она навела темные пятна на его собственные мысли; человек показался ему машиною, которая тогда только счастлива, когда действует в урочные часы и для известной цели; поэзия ему показалась вздором, воображение -- демоном, которого надобно избегать; всякий нерассчитанный порыв сердца -- едва ли не преступлением. Но, к счастью, он успел прочитать еще Томсона, и мысль о красоте природы связалась в голове его с Бентамовым индустриализмом. Таким образом, Акинфий Васильевич составил себе систему, которая была смесью Бентама, Томсона, Палей и других английских авторов, которых он читал в своей молодости; новых он не знал и потому не любил. Байрона он ненавидел, потому что Байрон проклял Англию, которая для Акинфия Васильевича, вместе с его системою, была образцом совершенства. Дядюшка часто объяснял свою систему, но понять ее было довольно трудно. К мысли, что основанием всякого человеческого поступка должна быть польза, он присоединил невыразимую привязанность к природе и свое восхищение выражал стихами из "Четырех времен года". Все, что было в природе, ему казалось совершенством, и он часто толковал о